

Константин Леонтьев

Наши окраины



Константин Николаевич Леонтьев

Наши окраины

«...Во времена Екатерины II у поляков было стремление к сближению с Россией; по крайней мере были признаки этого в религиозной сфере латинской западной России. Римско-католическая коллегия в Петербурге и деятельность латинского митрополита Сестренцевича служат слабым напоминанием о зародившемся тогда желании русских латинян ослабить цепи, связывавшие их с папой, и усилить связь с их новым отечеством – Россией. Но что же из этого вышло в ближайшее затем время? Латинские глумления над западно-русскими униатами, двенадцатый год и список ксендзов, участвовавших в смутах 1831 и 1862–63 годов, служат вопиющими доказательствами всегдашнего преобладания в поляках фанатического, ультрамонтанского направления...»

Содержание

#1	0005
I Православие и католицизм в Польше0006
II Отрывок из письма об Остзейском крае . .	0027

**Константин Николаевич
Леонтьев
Наши окраины**

Статья эта, напечатанная в 1882 году, была написана еще в 1880 году в Варшаве под влиянием местных впечатлений, тотчас же по прочтении статьи г. Кояловича в «Холмско-Варшавском епархиальном вестнике», и потому имеет, главным образом, в виду Польшу или, вернее сказать, весь Западный край; о других окраинах России упомянуто в ней лишь мимоходом, *но совершенно в том же духе охранения существующего.*

Редакция «Гражданина» напечатала после этой статьи и другой дополнительный отрывок из моего письма в защиту остзейских прав. Я полагаю, что все то, что я говорю о Польше, в общих чертах приложимо и к Остзейскому краю, и к Кавказу, и к Туркестану, и, пожалуй, даже в некоторых отношениях и к Сибири.

Православие и католицизм в Польше

В нашей литературе было много нападок на католичество: не всегда с чисто православной точки зрения, а больше с либеральной или с государственно-национальной. Значительная часть этих нападок была заслужена.

Она заслужена была уже тем, что и католики были не всегда чистыми католиками, т. е. западными христианами, которым, точно так же, как и христианам восточным, запрещены законом Божиим *политические движения* против власти Кесаря (хотя бы и *иноверного* – все равно).

С другой стороны, и русские светские писатели не всегда были правы и дальновидны. Иные из них, считая себя даже православными, весьма неосторожно сбивали читателей своих тем, что по незнанию или по либеральности своей осуждали чаще в католичестве не догматические и канонические, *в высшей степени важные* оттенки, которым оно от

Православия разнится, а, напротив того, именно те его стороны, которые по существу у него с Православием общи или достойны, по крайней мере, подражания; напр., аскетизм и оптимистический пессимизм мировоззрения; сильная власть духовенства; развитие духовничества и старчества, женские школы при монастырях и т. п.

Думая вредить папству, эти русские писатели много вредили и Православию; умышленно они это делали или по легкомыслию – не знаю. Полагаю, что иные были ослеплены ревностью или только поверхностны; другие же «ведали, что творили».

Но здесь идет речь и не о зловредных, и не о легкомысленных людях, а, напротив того, об одном весьма полезном и весьма основательном русском человеке – о г. Кояловиче или, лучше сказать, об одной статье его. Я с этой статьей и согласен, и не согласен. У некоторых птиц, говорят зоологи, глаза так устроены, что они по воле могут становиться и близорукими, когда им нужно рассматривать что-нибудь подробно на земле, и дальнорукими, когда они поднимаются очень высоко

на воздух. Мне кажется, что и человеческому уму не запрещено менять таким образом свой кругозор. Вот в этом-то смысле я говорю, что я и согласен с г. Кояловичем, и не согласен с ним. Я согласен с его *фактами*, понимаю прекрасно его *чувства*, но вижу за всем этим еще и *нечто иное*, более отдаленное и, вместе с тем, пожалуй, более существенное и важное, чем все то, на что он указывает.

О какой же статье именно идет дело?

В 3-м номере «Холмско-Варшавского епархиального вестника» перепечатана статья, кажется, из «Церковного вестника» г. Кояловича по вопросу о примирении с поляками.

Г. Коялович доказывает, что главным препятствием искреннему и прочному примирению русских с поляками является «всегдашнее преобладание в поляках фанатического, ультрамонтанского направления»...

В статье упоминается о препятствиях, полагаемых поляками нашим стараниям возвратить униатов; о ксендзах, переодевающих даже извозчиками для пропаганды; о том, как плохо дается нам введение русского языка вместо польского для добавочных молитв

латинского богослужения и т. д...

«Нечего обольщать себя, – говорит автор, – розовыми надеждами (на примирение поляков с русскими на религиозной почве). Вся история латинства у них представляет постепенное развитие ретроградного направления, и чем ближе к нашему времени, тем это направление становится более общим и могущественным. Вспомним, какая светлая заря новой жизни зарождалась в религиозной польской жизни в XVI веке. Лучшие польские люди, не только светские, но и духовные, с краковскою академией во главе, упорно отстранялись от ультрамонтанских постановлений Тридентинского собора и внимательно прислушивались к речам Ореховского и особенно Моджевского о необходимости для поляков славянского богослужения и приобщения мирян чашей. И что же? Один человек, папский нунций Коммендоний сумел не только сокрушить противодействие поляков Тридентинскому собору и заглушить речи о славянской литургии, но даже расчистить в польском государстве почву для иезуитов. Кто теперь из поляков решится вспомнить ре-

чи Ореховского и Моджевского и возобновить их дело? Многие ли из них даже знакомы с этими именами? А, по-видимому, как кстати вспомнить бы теперь и эти имена, и это дело. Поляки стараются дружить с чехами, у которых еще живы воспоминания о славянской церкви и большое уменье будить их в своей среде. В союзе с чехами и русскими много можно было бы сделать на этом пути.

Или вспомним дела, более близкие к нам. Во времена Екатерины II у поляков было стремление к сближению с Россией; по крайней мере были признаки этого в религиозной сфере латинской западной России. Римско-католическая коллегия в Петербурге и деятельность латинского митрополита Сестренцевича служат слабым напоминанием о зародившемся тогда желании русских латинян ослабить цепи, связывавшие их с папой, и усилить связь с их новым отечеством – Россией. Но что же из этого вышло в ближайшее затем время? Латинские глумления над западно-русскими униатами, двенадцатый год и список ксендзов, участвовавших в смутах 1831 и 1862–63 годов, служат вопиющими до-

казательствами всегдашнего преобладания в поляках фанатического, ультрамонтанского направления.

Или вспомним, наконец, еще более близкое к нам дело – старокатолическое движение в Западной Европе. Россия откликнулась на это движение. Происходили многократные обсуждения этого дела у нас, в Петербургском отделе Общества любителей духовного просвещения, и многократные сношения со старокатоликами. В России около семи миллионов латинян. Им естественнее всего было бы принять участие в этих обсуждениях и переговорах. Их долговременная жизнь в русском государстве, рядом с православными, должна бы, по-видимому, особенно расположить к старокатоличеству. Но что же мы видим? Все наши обсуждения старокатоличества, все наши сношения, съезды с западно-европейскими старокатоликами проскользали, так сказать, поверх всей этой большой массы наших русских латинян, не затрагивая никого, не вызывая с их стороны никакого сочувствия, никакого отклика! Этот факт, сильно бьющий в глаза, и его ничем нельзя ослабить. Это

неоспоримое доказательство, что в нашем русском латинстве слишком глубоко въелось ультрамонтанское направление, а при господстве такого направления не может быть никакой серьезной речи о примирении между нами и поляками, и все попытки вести эту речь помимо религии окажутся пустою мечтою.

Вот факты, с которыми, по нашему мнению, нужно прежде всего считаться, когда мы заводим речь о примирении с поляками»...

Все это так; все это, вероятно, правда... О «розовых мечтах» в наше время никто и говорить себе не позволит. И я здесь не имею в виду оспаривать г. Кояловича; я только хочу указать на то, что при всей правдивости его сообщений, при всей основательности его выводов, существует еще другой круг мыслей, в котором те же самые факты принимают совсем иное освещение. Неприятное становится сносным, вредное – полезным, опасное – чуть не спасительным.

Это очень просто... Старая теория *наименьшего зла* – и больше ничего.

Положим, и г. Коялович и оба мы – предан-

ные сыны Православной Церкви. Как тако-
вые, мы должны желать, чтобы наибольшее
число людей на свете стали тоже православ-
ными; дело тут прежде всего для нас не в зем-
ном *руссизме*, а в загробном спасении душ
этих прозелитов, и отчасти в прощении,
быть может, и наших грехов за наше усердие
в проповеди и борьбе с разными препятствия-
ми.

Вот самая основная, существенная сторона
вопроса, общая и русскому, и греку, и право-
славному японцу или камчадалу.

Здесь национальность не только в сторо-
не, но отчасти даже и в принципиальном ан-
тагонизме с религией. *Повсеместное*, чрезвы-
чайно успешное распространение Правосла-
вия могло бы, например, сгладить государ-
ственные особенности Русской Империи и,
сливши, так сказать, *ее воедино* со всем окру-
жающим ее миром на Западе и крайнем Во-
стоке, лишить ее (Империю) всякого резонно-
го права на дальнейшее обособленное исто-
рическое существование.

Человек, *истинно верующий*, в подобном
случае не должен колебаться в выборе между

верой и отчизной. *Вера должна взять верх и отчизна должна быть принесена в жертву, уже по тому одному, что всякое государство земное есть явление преходящее, а душа моя и душа ближнего вечны, и Церковь тоже вечна; вечна она – в том смысле, что если 30 000 или 300 человек, или всего три человека останутся верными Церкви ко дню гибели всего человечества на этой планете (или ко дню разрушения самого земного шара), – то эти 30 000, эти 300, эти три человека будут одни правы, и Господь будет с ними, а все остальные миллионы будут в заблуждении.*

Поэтому чем более мы спасем людей, тем лучше и для них и для нас.

Это так. Но, с другой стороны, правда и то, что в *настоящее время* для верующего человека (какой бы национальности он ни был) Россия должна быть очень дорога, как самый сильный оплот Православия на земле. Люди слабы, им часто нужна опора внешняя, опора многолюдства, опора сильной власти, опора влиятельной мысли, благоприятно для веры настроенной и т. п. Если же Россия, как сила православная, может быть дорога, в настоя-

щее время, даже и японскому прозелиту, то, разумеется, она должна быть еще дороже русскому верующему человеку.

Этот русский верующий человек должен бороться за веру и за Россию, насколько у него есть ума и сил.

До сих пор, я надеюсь, мы с г. Кояловичем согласны... Согласен я и с тем, что борьба с католицизмом нелегка и что католики люди крепкие, убежденные, упрямые, *которые и нам могут служить добрым примером.* Слова только эти «фанатизм», «ульрамонтанство» и т. п. я что-то плохо понимаю.

Если верующий человек не фанатик *своей веры*, то это только личная слабость его и больше ничего.

Не нужен, *может быть*, фанатизм *насилия*, но фанатизм *отпора*, фанатизм *самоотвержения* прекрасны... Необходим, вероятно (увы!), в жизни людской и фанатизм *терпеливой ловкости*... Я понимаю г. Кояловича, я согласен с ним, что борьба трудна и неприятна. Я понимаю чувства военного человека, страдающего в балканских ущельях и озлобленного донельзя против мусульман, заставив-

ших его зайти в эти негостеприимные места...

Я не осужу усталого воина, проклинающего в тяжелую минуту не только турок, но даже и самое великое учреждение войны...

Я бы только на месте этого военного, *раз отдохнувши*, подумал бы: «Однако есть и другой круг мыслей, вступая в который и войне должно радоваться, и даже турок считать *полезными* противниками».

Я считаю твердых католиков очень полезными не только для всей Европы (Бог с ней – с Европой!), *но и для России*.

Для того чтобы согласиться со мной, надо спуститься только на почву *действительности нашей*, на почву минуты исторической и т. д.

Я говорю: если бы каждому ослаблению католичества *где бы то ни было* соответствовало бы несомненное и немедленное усиление истинного, искреннего Православия; если бы победоносное Православие, подобно могучему потоку, вступало бы само собою, с быстротою истинной силы, тотчас же во всякую самую незначительную пустоту, образуемую историей еще в компактной массе католиче-

ства, то тогда только имели бы мы право считать остатки этой компактной массы, этой *плотины*, не уступающей сразу напору *нашей истины*, безусловным злом...

Но, Боже мой!.. *Прогресс наш* сделал то, что на всякий иноверный и твердый в своем иноверчестве элемент государства нашего теперь надо смотреть, как на благо! Не Православие истинное, *сердцем простое, мыслью ясное, волей твердое*, вливаться будет во все бреши, образуемые там и сям подкопами и таранами современной руссификации нашей, а жалкие помои великороссийской либеральности, столь возвышенно заявившей себя и в воспитании юношества, и в судах, и даже отчасти в земстве нашем, помешанном на *европейских школах* и на мелочной оппозиции губернской власти.

Католики – христиане, а теперь настало такое время, что не только староверы или паписты, но буддисты астраханские, мусульмане и скопцы должны быть для нас дороже многих и многих русских того *неопределенного* цвета и того *лукавого петербургского* подбоя, которые теперь вопиют против нигилизма, ими

же самими исподволь подготовленного.

Глупы ли они и честны, или лукавы и острожны – все равно; честные еще хуже; если они глупы – их не вразумишь; они пугаются слов «реакция, насилие, фанатизм, отсталость...» От чего отсталость? Не от проклятой ли Европы этой, стремящейся в бездну саморазрушения еще с конца XVIII века?..

Не Православие предлагает нынче великорусское «ядро» своим пестрым иноверным окраинам, как предлагало оно татарам при Иоаннах, – а европейский прогресс самого разлагающего свойства. Мы, русские, более всех *иных русских подданных* – европейцы в худом значении этого слова, то есть *медленные* разрушители всего исторического и у себя, и у других...

Недавно вышла в Москве моя книга «Отец Климент Зедергольм». Он был сын пастора, немец; вот, если бы из каждого поляка, оставившего католичество, из каждого татарина, изменившего исламу, из каждого крещеного буддиста выходили бы *такие* православные поляки, такие православные татары и калмыки, каким стал этот *православный немец*, то

можно бы радоваться этим обращениям и сокрушаться о препятствиях, полагаемых иноверчеством нашей пропаганде, и для души, и для государства спасительной...

А теперь похоже ли что-нибудь на это? В каком именно племени из всех племен, подвластных русской короне, нигилизм и потворствующее ему умеренное либеральничание распространены сильнее всего? В нашем великорусском племени... Из самого великорусского племени, бывшего так долго ядром объединения и опорой созидания государству нашему, исходит теперь расстройство...

Руссификация окраин есть не что иное, как демократическая европеизация их, и у человека, ясно понимающего положение дел, слагается в уме легко следующая последовательность мыслей, весьма разнородных, но связанных одной нитью: желанием сперва приостановить надолго поступательное движение в отчизне нашей, а потом, одумавшись, искать смело и внимательно, нет ли еще средств сойти нам как-нибудь на другие рельсы, не исключительно европейские...

Вот ряд этих мыслей:

1. Хотя Православие – религия всесветная или вселенская по существу своему, но по избранию Божию или (если угодно) по историческим сочетаниям, России выпало *пока* на долю быть главной опорой Православию на всем земном шаре.

2. Верующий человек должен желать, чтобы эта опора была сильна и тверда.

3. Национальные свойства великорусского племени в последнее время стали, если не окончательно дурны, то, по крайней мере, сомнительны. Народ *рано или поздно* везде идет за интеллигенцией. Интеллигенция русская стала слишком либеральна, т. е. пуста, отрицательна, беспринципна. Сверх того, она мало национальна именно там, *где следует быть национальной. Творчества* своего у нее нет ни в чем; она только все учится спокон веку у всех и никого ничему своему не учит и научить не может, ибо у нее нет своей мысли, своего стиля, своего быта и окраски. Русская интеллигенция так *создана*, что она чем дальше, тем бесцветнее; чем дальше, тем сходнее с любой европейской интеллигенцией; она без разбора, как огромный и простодушный

страус глотает всё: камни, стекла побитые, обломки медных замков (лишь бы эти стекла и замки были западной фабрики). Страус не может понять, что стекло режет желудок и что медь, окислившись, отравит его.

Русская интеллигенция *не в силах* различать стекла и меди от настоящей пищи. Она жрет, что попало, и радуется.

Строгое, осмысленное Православие, *простое сердцем и мудрое разумом*, стало слабо у этого страуса.

Окисленная медь европейского либерализма уже давно отравила его, его давно уже несет космополитическим флуксом, а он все еще наивно смотрит вокруг и только ищет, нет ли еще где-нибудь такого же, только *покрепче*? Даже настоящее, глубокомысленное славнофильство переварилось в слабом мозгу огромного страуса в самый простой и грубый европейского стиля эмансипационный панславизм. *Пышные перья* хомяковской своеобразной культуры разлетелись в прах туда и сюда при встрече с жизнью, и осталась, вместо нарядной птицы, какая-то очень большая, но куцая и серая индюшка, которая жалобно

клохчет, что ей плохо, и не знает, что делать. *Такова интеллигенция наша, взятая как всецелое, как социологическая единица.*

4. Поэтому, пока принципы лучшие, дисциплинирующие еще не взяли верх в государстве нашем, пока в ядре всероссийском начала охранительные и творческие не одержат победы над разрушительными (т. е. либеральными), интеллигенцию собственно русскую не следует предпочитать иноверцам и иностранцам нашим: татарам, черкесам, остзейским баронам, якутам и полякам. Либерализм вышел именно из христианских стран, как антитеза духовному, аскетическому, стеснительному христианству, а не из гор Кавказа или Мекки. К мусульманским народам либерализм прививается трудно. Остзейцы были всегда равнодушны к нации русской – это правда, но они верою и правдою служили Царю, от нации русской отделимому только метафизически, а не реально. Служа хорошо Государю, они нам служили; они служили косвенно и Православию. У поляков о настоящем нигилизме меньше слышно, чем у нас; они не благодетели рода человеческого, как

мы... Они хотели обмануть наших нигилистов и перевешать их тотчас же после выделения мечтательного царства польского.

Итак, у всех иноверцев и инородцев наших охранительные начала крепче, чем у нас, *именно потому, что они завоеваны или, иначе, присоединены; примирение основательное, глубокое свершиться может поэтому не на почве взаимных и немыслимых религиозных уступок, а в общем индифферентизме, который только бы усилил наши отрицательные, либеральные начала.* Сперва индифферентизм и общее свободолобие, вместо старых претензий на *местные особые права*, потом выделение из серой массы общей либеральности – красного всеобщего нигилизма.

5. Поэтому для нашего, *слава Богу, еще нестрого* государства полезны своеобразные окраины; полезно упрямое иноверчество; *слава Богу, что нынешней руссификации дается отпор.* Не прямо полезен этот отпор, но *косвенно*; католичество есть главная опора полонизма, положим, но оно же, вместе с тем, одно из лучших орудий против общего индифферентизма и безбожия.

Вера в Христа, апостолов и в святость Вселенских соборов, положим, не требует непременно веры в Россию. Жила Церковь долго без России, и если Россия станет недостойна, – Вечная Церковь найдет себе новых и лучших сынов.

И хотя сила Церкви необходимее для России, чем сила России для Церкви, но все-таки пока Россия дышит и стоит еще под знаменем *Православия*, Церковь отказаться от нее не может. *И не только русский верующий, но и японский прозелит должен желать блага Русскому государству, как наилучшей все-таки опоре Православия.*

6. Если же сила России полезна для Церкви, то для верующего члена той же Церкви (хотя бы и временно, положим) должно быть если не дорого, то хоть сносно все то, что хотя бы *косвенно* и *невольнo* охраняет Россию, все, что кладет препоны совокупности основных русских зол, именно: либерализму, безбожию, утилитарному мировоззрению, ложно понятому реализму воспитания и обучения... и т. д.

7. Частные национальные инсurreкции

через 15–20 лет *вовсе не очень страшны*. Частные инсurreкции, под *определенными национальными знаменами*, – вещь сносная; они возбуждают и в нас религиозное чувство и национальную доблесть хоть на время. *Тихий и мирный ход домашнего разложения во сто крат ужаснее*.

К тому же поляки перестали, по-видимому, думать об инсurreкциях против России с тех пор, как Германия, готовая *дотла* их пожать, стала так сильна.

Что касается до их кокетства с Австрией, с одной стороны, а с другой – до соглашения Австрии с Германией будто бы против нас, то первое можно счесть неопасным уже потому, что *второе* едва ли может быть прочно. Если б *такая беда* и случилась паче чаяния, то можно быть уверенным, что Германия, после двух-трех наших побед над австрийцами, поспешила бы покинуть Австрию только для того, чтобы всей силой своей обрушиться скорее на Францию, *если бы та шелохнулась...*

Хорошо обращать униатов в Православие, но еще бы нужнее придумать: как *своих*, москвичей, калужан, псковичей и, особенно,

жителей Северной Пальмиры *просветить Светом Истины?*

С упорными *иноверцами* окраин Россия, со времен Иоаннов, все росла, все крепла и прославлялась, а с «европейцами» великорусскими она, в каких-нибудь полвека, пришла... К чему она *пришла* – мы видим теперь!..

Между прочим, и к тому, что и русский старовер, и ксендз, и татарский мулла, и самый дикий и злой черкес стали лучше и безвреднее для нас наших единокровных и *по названию (но не по духу конечно) единовѣрных братьев!*

Отрывок из письма об Остзейском крае

«... **Ч**то касается до Остзейского края, то я сознаюсь вам, что не могу сказать о нем ничего решительного и подробного. В уме моем больше вопросов по этому поводу, чем ответов. Вопросы эти, вернее сказать, полувопросы-полуответы истекают, впрочем, все из той простой и ясной основной мысли, что все уравнительное и освободительное (вдобавок, очень быстрое) движение предыдущего двадцатипятилетия было не то, чтобы ошибкой (оно было, видимо, неотвратимо), а *самообольщением*... Самообольщением оно было в том смысле, что на него очень немногие смотрели только как на неизбежное государственное горе, как на средство предотвратить зло еще худшее (т. е. демократизацию *инсуррекционную*), как смотрели на наше эгалитарно-либеральное движение 60-х и 70-х годов, конечно, очень немногие и все больше люди, так называемые, «отсталые» от идей

движения, а не опередившие мыслью это обманчивое движение.

Несчастье наше было не столько в сознании необходимости подобного движения, сколько в его искренности, наивности, даже в значительной теплоте. Другое дело верить в неизбежность движения и, как говорится, *faire la part du siecle*; другое дело верить в государственную пользу этого движения, потому только, что оно гуманно или представляется нам в идеале таковым. Эта разница во взглядах уже сама по себе приводит к значительной разнице в способе осуществления необходимых перемен... Еще проще и яснее говоря: я не верю в возможность долгого существования бессловных и провинциально-однородных государств, и разгадка почти повсеместного современного общественного расстройствa, по-моему, состоит в том, что тонкая и глубокая долговременная и привычная *разно-мерная и разно-степенная* принудительность прежних сословие-корпоративных и провинциально-разнородных государств и государственных союзов заменилась таким строем, который можно назвать *свободно-ас-*

социационным или стремящимся приблизиться к этому идеалу легкорасторжимых свободных ассоциаций[1]. Преобладание выборного начала, демократические конституции, вполне вольнонаемный труд, легкая и безграничная свобода купли и продажи, гражданский брак, краткосрочность и всесловность военной службы, уничтожение родовых прав и обязанностей, легкая отчуждаемость недвижимой собственности и более быстрый против прежнего переход ее из рук в руки, излишнее облегчение передвижений и вообще ни для чего серьезного не нужная быстрота сношений и, вследствие всего этого, однообразие быта, понятий, характеров, однородность вкусов, привычек, потребностей и даже претензий без всяких на эти претензии особых прав мистических, родовых, октроированных или приобретенных действительно высшими дарованиями, – вот картина нынешних ассоциационных и стремящихся к однообразному расторжению обществ. Тут два спасения: во-первых, какие-то искусственные и беспощадные железные крюки администрации; во-вторых, сохранение всех тех нера-

венств и всех тех *неравноправностей*, которые можно еще сохранить дружными усилиями, дабы сберечь их к тому времени, когда теория (всегда практике государственной предшествующая), умудренная печальным опытом истекающего века от 1789–1882 гг., например, не отвергнет окончательно и на целые века ныне отживающий *утилитарный идеализм* и не возвратится снова к более соборному с законами социальными и психологическими *мистико-реалистическому* строю. Франция – передовая страна прошедшего – в конце XVIII века водрузила первая это знамя утилитарного идеализма, который, кроме разрушения и машин (тоже страшных орудий общего расстройства), ничего не дал; приятно было бы мечтать, что Россия, во главе какого-нибудь Восточного союза, решится перефразировать отживший возглас: «равенство, свобода, братство!» следующим образом: Да! конечно... *братство... но только о Христе*; т. е. братство как можно менее равных и однородно поставленных... (даже и в *продаже и купле* вовсе не особенно свободных и равноправных) людей.

В это *новое созидание* должно, конечно, войти многое из *сохраненного*, как вошло много старого, *сохраненного* от Эллады и Рима в новое созидание Византии (1000-летней) и романо-германской Европы.

Теперь, до разрешения Восточного вопроса, надо одно – *подмораживать* все то, что осталось от 20-х, 30-х и 40-х годов, и как можно подозрительнее (*научно-подозрительнее*) смотреть на все то, чем подарило нас движение 60-х и 70-х годов.

Вот какими общими мыслями я руководюсь, когда думаю о наших окраинах.

Пестро и не слишком подвижно – государственно; однообразно и очень подвижно – не государственно. Дело не в однородности, а в высшем *единстве* власти и духа.

2) Вы[2], кажется, произнесли слово «справедливость», говоря об «остзейцах».

В делах Остзейского края теперь, мне кажется, следует предпочитать справедливость условную, т. е. законность, *связанную с преданиями этого края*, справедливости абсолютной, т. е. право немецких баронов предпочитать эсто-латышскому демократическому

движению. Имена немецкой аристократии связаны с военным и политическим величием православной России; а эсто-латышское движение ни с чем, разве с либеральной модой...

3) Не напоминают ли вам эти эсты и латыши болгар? Греки (фанариоты) – церковное охранение, великие воспоминания; болгары – либерализм без воспоминаний и с *темным, непонятым будущим*. Остзейские дворяне – государственное охранение и славные подвиги на русской службе; а эсты что такое? На что они нам? Болгары, по крайней мере, и славяне, и в (простонародном) большинстве народ, верующий *по-нашему*; эсты – протестанты, и сделать их серьезными православными трудно.

4) Я не изучал учреждений Остзейского края и не буду, вероятно, никогда их внимательно изучать; и мне вовсе этого и не нужно, чтобы усомниться не только в пользе эсто-латышской демократизации (т. е. в пользе предпочтения протестантов плохих и непородистых протестантам блестящим и породистым), – но даже и в пользе «русификации»...

Что такое «руссификация», я до сих пор не знаю! Европеизация – вот это ясно. Если бы была где-нибудь *китаизация* или *японизация* – тоже было бы понятно. *Древняя эллинизация* тоже ясна.

Когда мы видим, например, что в дикой Армении во время 1-го римского триумvirата представлялись при дворе царя трагедии Эврипида (у Плутарха; биография Красса), – это понятно. И когда у России будет все или хоть очень многое *свое*, хотя бы и вовсе не демократическое, *но свое*, тогда руссификация будет победоносна, *плодоносна* и естественна. А теперь, что это такое? Обыкновенная, очень жидкая, бледная и нивелирующая Европеизация – больше ничего. Руссификация *языка*, это еще лучше всего; язык наш, конечно, надо немцам знать; хотя и то сказать, что книгу, написанную о России по-французски и английски и т. д., при оригинальности благоприятных и умных взглядов на нашу родину (например, некоторые места в сочинении француза Сурпиен Роберт «Le Monde greco-slave»), – можно назвать более русской, чем большую часть того, что у нас за последние

года писалось и прославлялось на нашем родном языке. Впрочем, язык русский для *иноверцев* – наилучшее средство прикрепления к России. Но ведь *бароны*, вероятно, примирятся с обязательным введением русского языка, если это введение не будет связано с *разрушением их местных аристократических прав*? Впрочем, не знаю; я только спрашиваю себя. Я позволю себе *сомневаться на основании моих общих взглядов*, выраженных подробно в вышеупомянутой статье I тома «Византизм и славянство».

Другое дело эти общерусские суды!.. К чему это *однообразие учреждений*?.. При разнообразии местных учреждений гораздо легче управлять... Многие тогда держится само собою, собственным сцеплением, без «железных крюков искусственной администрации». И какие же это такие *русские суды*? Я *русских судов* не знаю. У нас есть теперь общеевропейские, демократические и нивелирующие суды; а собственно русских нет. Нельзя называть русской одеждой казацкие панталоны оттого, что они немного пошире других или с каким-нибудь кантиком. А вот цветную ру-

башку *навыпуск* можно назвать русской одеждой.

Поземельная община, неотчуждаемость участка – это тоже вещь и русская, и охранительная, и будущность *могущая иметь* (если мы с ней будем бережно обходиться). Вот если бы мы по всем окраинам вводили даже и насильственно, с разными местными оттенками, общинное землевладение; хотя бы даже рядом с майоратами, в ущерб только непрочной мелкой и средней личной собственности, которые в политической сфере понятий соответствуют двум худшим язвам нашего времени – *умеренному либерализму и республиканскому якобинизму* (вспомните Францию), если бы мы везде запрещали *пролетаризм*[3] и *деспотически объявляли бы неправо на землю*, ибо это отзывается грабежом, а скорее *обязанность* какого-нибудь *минимума недвижимости*, и этой мерой, крутой и стеснительной для многих, но благодетельной для общего настроения, придавали бы больше *устойчивости* обществу; то все это, вместе с *серьезной* проповедью Православия и обязательностью русского языка, можно бы

назвать хорошей руссификацией. А если мы, например, на Кавказе и в Туркестане вместо шариата будем вводить светские *общеевропейские* суды, или в Остзейском крае, вместо *европеизма феодального*, который дал Царям русским столько хороших полководцев и политиков, будем вводить *европеизм эгалитарно-либеральный*, который, кроме адвокатов, обличительных корреспондентов, «реальных» наставников и т. п., ничего не дал и дать не может, то какая же это руссификация?..

Если что-нибудь подобное будет нами делаться *для эстов и латышей*, то это очень печально. Все эти Мантейфели, Бреверны де-ла Гарди, Шау фон Шауфуссы – образы и величины определенные и значительные. А что такое эсты? К чему эта племенная демократизация? Пусть их не слишком теснят, и довольно!

Мы еще всё не устали *равнять*, мы еще всё *летим по инерции куда-то!* При однообразии, сказал я, труднее управлять; *потребности и претензии сходнее, а средств удовлетворять им нет.* Я, впрочем, не знаю наверно, какие

реформы предстоят Остзейскому краю, но и не зная, я боюсь их.

5) Не нужно ли различать, впрочем, дворянство от бюргеров? Я думаю, это необходимо.

Дворянство Остзейского края верой и правдой служило России и будет еще служить, если мы его будем щадить; а бюргертум бесполезнее и, пожалуй, вреднее нам. Привилегиями и уважением мы баронов всегда отклоним от Германии; а бюргеров – едва ли. Тут еще эсты, пожалуй, что-нибудь и значат... может быть...

6) Да еще стоит ли нам много и думать о Балтийском море вообще? *Не пора ли нам теперь обратно: из варяг в греки?* Я убежден глубоко, что все то, что вредно для величия и силы города Петербурга, – полезно для России. Петербург не Париж, не Рим, и Россия не с городом связана, а с живой душой, с Государем! Столиц мы много меняли, и всякий раз с временной пользой; *переменим и еще!* А пока вообще нужно поменьше движения в обществе. *Отдохнем и соберемся с мыслями и силами перед недалеким и страшным разрешением*

великого во всех отношениях Восточного вопроса!

Когда я говорю «страшный вопрос», «страшное дело», «страшное разрешение», то я думаю при этом, конечно, не о войнах. Войны, как счастливые, так и неудачные, могут еще иметь на нас в высшей степени благотворное «развивающее» и культурно-обособляющее влияние.

Если на меня находит нечто вроде «священного ужаса» при мысли о «Восточном вопросе», то это вот отчего: я спрашиваю себя, будем ли мы в самом деле теми представителями *нового* «культурного типа», каких желает и надеется видеть в нас Н. Я. Данилевский, или мы заражены демократическим, утилитарным и всячески уже теперь опошленным европеизмом до убийственной и позорной неисцелимости? Вот что ужасно! Правда, признаков *хороших* (обособляющих нас) за последние три-четыре года обнаружилось много, но когда подумаешь, до чего еще трудно «выколотить» из нас либерального «европейца», то станет очень грустно! А из болгар, из сербов, из греков и румын «вытравить» Лас-

кера, Вирхова, Брайта, Гладстона, Гамбетту и
Эмиля Жирардена еще много труднее!!»

Примечания

Подробнее и яснее о том же в I томе (Восток, Россия и Славянство) – последние 6 глав статьи «Византизм и славянство», главы эти озаглавлены «Что такое процесс развития», «О государственной форме» и т. д. Примеч. авт. 1885.

[^^^]

Редактор «Гражданина».

[^^^]

3

Не пауперизм, пауперизм – вещь *субъективная*, не осязательная, изменчивая, его не только запретить, его *уничтожить нельзя*. В иные минуты Монарх, которому недостает несколько десятков миллионов для ведения необходимой войны, может чувствовать себя беднее, чем нищий, которому щедрый человек вздумал дать три рубля.

[^^^]